

Прекрасен пафос писателя, но есть ли основания для такой гневной тирады или это просто красивая поза?

А

Продолжение. Начало на 12-й стр.

друзья. Не те, с которыми он играл в карты и на бильярде, а те, кого он сам выбирал и объединял вокруг себя, с кем он выступал и издавал журнал, с кем он прошел свой путь в искусстве. Предполагается, что он хорошо к ним относился, иначе это не были бы друзья.

— Так вот — нет! — говорит нам Катаев. — Наоборот. Он их терпеть не мог. Он не знал, как от них избавиться.

«Для них, — пишет Катаев, — и для футуристов в прошлом, а ныне «лефов» в том числе — он был счастливая находка, выгоднейший лидер, человек громадной пробивной силы, за широкой спиной которого можно было пролезть без билета в историю русской литературы. Рай для примазавшихся посредственностей, оперативных молодых людей, бряцавших своим липовым лефовством, которые облепили Маяковского со всех сторон, общими усилиями принижая его до своего провинциального уровня, выросли на нем, как ракушки на киле океанского корабля, мешая его ходу».

Прекрасен пафос писателя, но есть ли основания для такой гневной тирады или это просто красивая поза? Кто такие эти «оперативные молодые люди», «примазавшиеся посредственности», «липовые лефовцы», пролезшие без билета в историю литературы?

Жизнь Маяковского, несомненно, принадлежит истории, но и лефовцев было не так много и все это были «числа именованные», как говорил Шкловский. Почему же не назвать, кого имел в виду Катаев? Хлебникова? Каменского? Асеева? Кирсанова? Крученых? Третьякова? Или, может быть, художников: Малевича? Татлина? Родченко? Альтмана? Режиссеров: Эйзенштейна? Терентьева? Теоретиков и литературоведов: Брика, Шкловского, Пунина, Арватова?

Этих людей Маяковский дарил своей дружбой, все это были не просители, а благотворители в новом русском искусстве, и третировать их, как это делает Катаев, можно, только сваливая в общую кучу и не называя имен. Имена говорят сами за себя.

О чем же старается Катаев? Конечно, тут не одна «красивая поза». Тут еще то, что называется «утверждение себя через вытеснение». В среде друзей Маяковского, которых мы перечислили выше, Катаеву места нет. Писатели, художники и режиссеры этого направления были искатели, ратовавшие за новое искусство, люди определенных вкусов и принципиальных позиций в искусстве. У них не было общего языка с нынешним мовистом.

Вот настоящая причина «вытеснения». И она тем настойчивее, чем ближе к Маяковскому хочет определить себя автор.

Катаев не бывал у Маяковского и Брик. Это было другое общество, пьющее, богемное, жмущее к художественному театру. Что общего? Только раз видел я Катаева и Олешу на Гендриковом. Летом двадцать девятого года, в отсутствие Лили Юрьевны. Сидели долго. Крымского и кахетинского было выпито много. Возвращались под утро по еще не проснувшейся Воронцовской. Олешу вело и шатало в разные стороны.

— Очень мило посидели... — твердил он. — Очень... И завтра пойдем. А то приедет Лили и нас разгонит...

И верно, — думаю я сегодня над этими словами, — разогнала бы... Они были противоположны друг другу. Лили Юрьевна непримиримо отталкивалась от этих людей. Они — неглупые, талантливые, тонкие, острые, — тем хуже! За богемным засасывающим остротой она чула холодное дно цинизма... Летом 1929 года она писала в Крым: «Володик, очень прошу тебя не встречаться с Катаевым. У меня есть на это серьезные причины. Я встретила его в Модпике, он едет в Крым и спрашивал твой адрес».

Словно знала она, что последнюю ночь на земле ему суждено будет провести именно в этом обществе...

Наиболее подробно описана в «Траве забвения» последняя встреча Катаева с Маяковским.

Наш интерес, естественно, привлекают страницы, касающиеся этой встречи, тем более, что почти ничего об этом дне — последнем дне жизни Маяковского — в печати не появлялось.

Воскресенье, тринадцатое апреля 1930 года.

Под вечер Маяковский пришел к Катаеву.

«Он вошел в комнату, уже еле-еле тронутую приближающимися сумерками, поставил палку в угол, а шляпу повесил на палку самой верхней полки шведского книжного шкафа, предварительно попробовав пальцами, крепко ли она держится, эта самая палочка, которую он в прошлый раз оторвал так, что мне пришлось обернуть ее стерженек бумагой».

Очень точно описанная крохотная палочка должна как бы заверить нас, что мельчайшие подробности этого вечера запомнены автором в неприкосновенной достоверности.

Нет. Совсем не так.

Письмо, адресованное «Всем!», уже написано... Автор «Травы забвения» тогда, разумеется, не знал об этом письме, но он делает вид, что не знает о нем и

теперь, когда пишет свою повесть. Почему? Так ему, очевидно, удобнее.

Да, Маяковский завтра умрет, а сегодня просто пришел посидеть свой последний вечер с Катаевым.

«... отвечая на мой вопросительный взгляд».

— Ни за чем. Пришел просто так. Вы удивлены? Напрасно. Посидеть с человеком. Как гость».

Если даже Маяковский тогда так и сказал Катаеву, то через очень короткое время тот мог бы уже догадаться, что в действительности его гость пришел в тот вечер вовсе не к нему. Маяковский знал, что здесь будет В.В. Полонская. Роман с ней, длящийся уже около года, конечно же, не был секретом для Катаева.

Вероника Витольдовна вспоминала: «13 апреля днем мы не виделись. Он позвонил в обеденное время и предложил ехать на бега. Я сказала, что поеду на бега с Яншиным и мхатовцами, потому что мы уже сговорились ехать, а его прошу, как мы условились, не видеть меня и не приезжать. Он спросил, что я буду делать вечером. Я сказала, что меня звали к Катаеву, но что я не поеду к нему, а что буду делать, не знаю еще».

Вечером я все же поехала к Катаеву с Яншиным. Вл.Вл. оказался уже там. Он был очень мрачный и пьяный. При виде меня он сказал:

— Я был уверен, что вы здесь будете!»

По Катаеву же, все происходило так: повесив шляпу на палочку, его гость сел на диван и они стали непринужденно болтать. Катаев предложил: «Расскажите что-нибудь о Блоке. Вы ведь с ним встречались?»

И Маяковский будто бы рассказал ему забавную историю — как он добывал у Блока автограф.

Источник этого рассказа известен. Это — запись в дневнике К.И. Чуковского от декабря 1920 года, когда Маяковский приезжал в Петроград читать в Доме искусств поэму «150 000 000». Прочитав «Траву забвения», Корней Иванович писал Лиле Юрьевне:

«По поводу эпизода «Блок—Маяковский»: В.В. рассказывал этот эпизод моей жене, а я тут же записал его рассказ слово в слово. Весь рассказ занимает 8-10 строк. Вообще нельзя себе представить В.В. болтливым. Он бросал реплики, острит, декламировал отрывки чужих стихов, но говорить монологи он был не склонен. И Блок не страдал недержанием речи. Все это было иначе».

Дотошный читатель может сравнить эти два варианта. В художественной интерпретации Катаева рассказ увеличился в пять раз. За счет чего? За счет беллетристических подробностей, т.е. сочных деталей, повторений и отступлений. И все это в форме прямой речи Маяковского. Маяковский сделался развязно болтлив, а Блок в меру небрежной фантазии автора стал изрекать одну несъедобную пошлость за другой и договорился до того, что Хлебников — гений, что Маяковский «до известной степени тоже» (!) и что он, Блок, «если хотите — ученик. Ваш и Хлебникова...»

Таких вещей Блок, конечно, не говорил, не мог говорить Маяковскому. Разве мы не знаем его отношения к Хлебни-

Продолжение на 27-й стр.

ПРАВА
ЗАБВЕНИЯ
И ЦВЕТЫ БЕЛЕТРИСТИКИ

ЗВУКОВЫЕ МЕМУАРЫ

И он как-то интуитивно почувствовал, что нужен пример писателя, который может или умеет в своей работе соединить эти две совершенно с нашей точки зрения несовместимые позиции, и назвал Маяковского. Сказал, что, может быть, единственный из всех искренен в должной мере в том, что он пишет, а всех других он, Михаил Михайлович, подозревает, что они не вполне искренни или больше притворяются, чем действительно пишут то, что о них думают. Вот эта полная искренность Маяковского и привела его к тому жесту (он просто изобразил пистолет, сложив три пальца и вытянув указательный, приставил его, как пистолет, к виску), сказав мне: вот чем кончится эта позиция. Это было примерно за год до смерти Маяковского.

Атмосфера, в которой проходили последние годы жизни Маяковского была чудовищной. Трудно было не застрелиться, находясь в том положении, в котором находился Маяковский. Я всегда считал, что личная сторона этой истории страшно

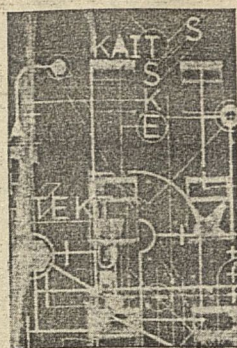
преувеличена. Дело не в том, что какие-то личные отношения — история вот эта известная с Яковлевой и т.д. — могли послужить серьезным поводом для его самоубийства. Я в этом абсолютно убежден, и меня в этом убеждает взгляд историков, потому что перелистывая, скажем, «На литературном посту» тех лет, вы наткнетесь на статьи, которые, конечно, заставили бы каждого из нас потянуться за пистолетом. Я вспоминаю, например, подлую статью Зелинского, одну из самых подлых статей, которые только были напечатаны, — она настолько поразила меня, что я ее процитировал в «Новом мире» — «Иди ли нам с Маяковским?» Я придаю ей не меньшее значение, чем столь же подлой позиции Ермилова, который тоже сделал очень много для того, чтобы убить Маяковского.

Ведь вот что он писал: «Маяковский и Есенин — это орел и решка, это, в сущности, две стороны одной и той же монеты. Этой монетой мы, в каком-то смысле, платим

татарский ясак, мы расплачиваемся ею с российским наследственным бескультурьем нашим». Т.е. трудно представить себе более оскорбительного удара, чем тот, который мог быть нанесен подобного рода мыслью, причем, мыслью обдуманной, обоснованной.

В.Дувакин: «Да, статья, по-своему хорошо написана».

В.Каверин: «Статья по-своему сильная и хорошо написана. Я вспоминаю Ильинского, его воспоминания после провала «Бани»... Я, наконец, сам был свидетелем ответов Маяковского на записки: «Гадина, сколько тебе дано?», которые он читал вслух в филармонии в Ленинграде. Я был просто поражен этой запиской, поражен спокойствием, с которым он на нее ответил, но вот как ответил — я не помню... Причем, она была подписана рабочим такой-то. Так что положение его было необыкновенно сложным. И нет ничего удивительного, что проницательный, умный и тонкий Зощенко предсказал его самоубийство».



Все это показывает только, как мало знал Маяковского Катаев, видевший его главным образом на эстраде и в общении с далекими и случайными людьми.

А

Продолжение. Начало на 12-й и 23-й стр.

ву? Дальше, чем «подозреваю, что значительен Хлебников», Блок не заходил. Да и весь этот стыдный, ернический тон рассказа, навязанный Маяковскому, — такой неуместный по отношению к Блоку, так мало отвечал состоянию человека, решившего — «у меня выходов нет...»

Но и этого рассказа автору повести показалось мало, и он заставил разболтавшегося Маяковского рассказать еще одну в таком же духе историю — как Н.Н.Евреинов угощал его фазанами.

Я понимаю, что перед Катаевым не было такой задачи — описать точнее. Его задачи определялись совсем другими аспектами художественного повествования, которые могут порой вступать в противоречие с действительно имевшими место фактами. Но меня интересуют именно эти факты и подробности, wie es eigentlich war, как говорят историки, — что же собственно было. Так вот, этих двух «устных рассказов» в духе Горбунова в тот вечер не было. Не знаю, были ли они вообще, — так неправдоподобно они реконструированы.

Что же дальше?

Дальше по Катаеву — «наступил тот московский час, когда знакомые начинали перезваниваться, где бы провести сегодняшний вечерок... Я спрашивал, кто говорит, закрывал ладонью трубку и вполголоса сообщал Маяковскому имя звонившего, а он, несколько мгновений подумав, утвердительно или отрицательно, но чаще отрицательно кивал головой. Иногда прибавлял при этом что-нибудь вроде «Пусть приходит» или «А ну его к черту»... Удивляло, что он отверг некоторых своих общепринятых друзей, товарищей по Лефу и сделал это с выражением, я бы сказал, яростного отращения: «А пошел он к...»

Очень странная подробность, которая ставит под сомнение весь пассаж. Странно — откуда вдруг взялись левовцы? Товарищи Маяковского по Лефу не бывали у Катаева, запросто не перезванивались с ним — «где бы провести вечерок?» Левовцы, которых согласно той же «Траве забвения», Катаев совершенно не выносил, могли позвонить сюда разве только, чтобы доставить хозяину удовольствие послать их куда подальше...

Но кто же были те «крупинки чистого золота», которые Маяковский будто бы отобрал себе в компанию, кто был в тот вечер у Катаева?

Не говоря о В.В.Полонской и М.М.Яншине, присутствие которых было предопределено, не говоря о самом В.П.Катаеве и его жене Анне Сергеевне (Мусе)... В повести назван один из Б.Н.Ливанов, молодой актер МХАТа, пар-

тнер Полонской по «Квадратуре круга». Мы можем назвать еще два имени. Художник В.О.Роскин, когда-то немножко работавший в РОСТА (Маяковский называл его Наркомпроскин), и журналист В.А.Регинин — старая петербургская богема, «собутельник Куприна, а теперь приближенный Демьяна Бедного. И это все! Больше не было никого. К тому же, когда Маяковский пришел в тот вечер к Катаеву, Роскин был уже там. Б.Ливанов, появившийся вместе с Яншиным, тоже оказался de facto. Таким образом, в качестве «крупницы чистого золота» остается признать одного Регинина.

Катаев хотел бы представить дело таким образом, что Маяковский, проведя свой последний вечер среди людей, которых он сам себя выбрал. Но это, как видим, не получается. Это были гости Катаева.

А Маяковский?

«Он был совсем не такой, как всегда, не эстрадный, не главарь. Прихитрый. Милый. Домашний».

«...Не знаю, о чем думал Маяковский, но он все время как бы к чему-то прислушивался, ожидая чего-то...»

«За столом в тот вечер острили все, кроме Маяковского... Можно было подумать, что он вдруг под действием какого-то странного волшебства потерял дар остроумия...»

Катаев очень удивился, когда он предложил Маяковскому вареников — «простых, обыкновенных, общечеловеческих вареников с мясом...» («какой богатейший материал для остроумия, для словесной игры! Каким фейерверком острот, шуток, каламбуров взорвался бы в другое время Маяковский...») — однако в этот вечер «Маяковского как будто подменили. Он вежливо отвечает:

— Да, благодарю вас.

Он, который даже в парикмахерской требовал: «Причешите мне уши».

Но не каждый же раз Маяковский просил парикмахера причесать ему уши! (А может быть, ни разу? Может быть, это всего только поэтическая метафора?) И не всегда, когда ему предлагали ответить чего-либо, отвечал «фейерверком острот и шуток»...

Все это показывает только, как мало знал Маяковского Катаев, видевший его главным образом на эстраде и в общении с далекими и случайными людьми. Маяковский был очень остроумный человек, но не остряк, безостановочно сыпящий каламбурами и парадоксами. И то, что Катаев так удивился простому «Да, благодарю вас...», вероятно, больше характеризует его, а не Маяковского.

Разумеется, Маяковскому в тот вечер было не до шуток. «Он либо отмалчивался, либо вяло отбивался». Попросту ему было плохо...

По Катаеву, Ливанов — «весельчак и душа-парень жаждал померяться остроумием с Маяковским и все время задибался и подбрасывал ему на приманку едкие шуточки, однако безрезультатно. Маяковский отмалчивался».

По Катаеву — «Не отставал от Маяковского и молодой Яншин... Реплики Яншина, сказанные слабым невинным комедийным голоском и поданные в духе дружеской шуточки, жалили Маяковского исподтишка, но тоже без видимого результата...»

Дальше идет описание «вечной любовной дуэли». Глаза Маяковского «были устремлены через стол на Нору Полонскую... С немного испуганной улыбкой она писала на картонках, выломанных из конфетной коробки, ответы на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку время от времени бросал ей через стол...»

...Маяковский и Нора ушли в мою комнату, отрывая клочки от чего попало, они продолжали стремительную переписку, похожую на смертельную молчаливую дуэль.

вследствие отъезда Бриков. Последний вечер был такой:

Часов в восемь вечера вдруг Маяковский пришел к Катаеву, у которого должны были быть гости — Яншин, Ливанов, Полонская. Катаев рассказывает о том, что Маяковский был грустен, как-то добр. Пришли гости, и тут /говорит Катаев / началось очень тревожное поведение Маяковского. Он все объяснял то с Полонской, то с Яншиным, вызывая их в комнату поодиночке. Затем условились, что Маяковский заедет утром за Полонской и отвезет ее в театр на репе-

РАВА
ЗАБВЕНИЯ

И ЦВЕТЫ БЕЛАЕТРИСТИКИ

...Впервые я видел влюбленного Маяковского. Влюбленного явно, открыто, страстно».

«В третьем часу ночи, — пишет далее Катаев, — главные действующие лица и гости-статисты, о которых мне нечего сказать, кроме хорошего, — всего человек десять, — стали расходиться...»

Существует письмо Ю.К.Олеши к В.Э.Мейерхольду, который находился в это время в Берлине. Написанное под непосредственным впечатлением гибели и похорон Маяковского, оно датировано 30 апреля 1930 года: о последнем вечере в письме рассказывается со слов того же В.П.Катаева:

...«Что я знаю о последних днях? Известно, что он нервничал, искал общества, был раздражен. Говорят об одиночестве

тицию. Катаева поразило то, что Маяковский на прощанье обнял его и поцеловал в щеку, сказав «до свиданья, старик». Известно, что ночь Маяковский провел дома на Таганке...»

Обращают на себя внимание два обстоятельства. Первое, что это была не случайная «московская вечеринка» — «завернули на огонек», на чем особенно настаивает Катаев. Случайным гостем в действительности был один из Маяковский.

Второе — его «очень тревожное поведение». В «Траве забвения» оно смазано и снижено с тревожности до уровня простудного недомогания.

Окончание на 31-й стр.

ЗВУКОВЫЕ МЕМУАРЫ

Маяковский, с моей точки зрения, никогда не имел читательского успеха. Я в этом совершенно убежден. И он очень много потерял с тех пор, как стал поэтом, так сказать, официальным. Видите ли, он рвался к читательскому успеху, и это чувствовалось очень в его многократных выступлениях, и для него крайне важно было быть понятым до конца. Но я считаю, что он понят не был, что он как был, так и остался угловатым жилищем в русской поэзии. Все попытки продолжить его путь совершенно бесплодны, безнадежны, и в наше время я не вижу никого, кто мог бы действительно серьезно воспринять и развить его гениальное, с моей точки зрения, наследие. Это, может быть, покажется вам странным, но я убеждался в этом неоднократно. При мне ожесточенно спорили о значении Маяковского Заболоцкий и Всеволод Иванов. Причем Заболоцкий нацело отрицал значение Маяков-

ского, а Иванов и я, и Журавлев Дмитрий Николаевич, присутствовавший при этом, всячески его защищали.

И главное, Маяковский как был, так и остался очень спорной фигурой. Эта бесспорность его — мнимая, этот лак официальный, которым покрыта эта фигура, памятник, который ему стоит и который так поразительно не похож на него, — все это ничего не меняет в сущности его поэзии. Я считаю, что Маяковский как был, так и остался непонятым и не понятым до конца жизни.

В.Дувакин: «Насчет читательского успеха — мне кажется, что вы на ограниченном опыте делаете слишком широкие выводы. У Маяковского, конечно, был свой читатель и тогда, и в пятилетке (1930—1935 гг.). И мне кажется, что этот читатель в какой-то степени и вызвал официальное призна-

ние, потому что по этому поводу было много конфликтов и писем. Но он-то, конечно, поступил очень хитро, автор высказывания, и в какой-то степени действительно сделал его официальной и тем самым более приемлемой фигурой. Маяковский — фигура очень сложная, очень противоречивая, но ведь и мировой же резонанс у него был».

В.Каверин: «Я согласен с вами: мировое значение Маяковского совершенно неоспоримо, и он действительно основатель ряда направлений. Это относится к поэзии любой почти страны, включая и страны Латинской Америки, может быть, даже в первую очередь. Но в России, я считаю, он и 10-й доли тех традиций, которые он должен был бы иметь и продолжить, он не получил. Я считаю, что Маяковский — фигура непризнанная в поэзии, от него давно отходят».

...заварить малину можно разве что для самых наивных читателей. Мало их разве?

А

Окончание. Начало на 12-й, 23-й, 27-й стр.

— «Попросите, чтобы Лилия Юрьевна заваривала вам малины», — заботливо напутствовал чуткий хозяин своего гостя, которому осталось жизни меньше десяти часов.

Все это, разумеется, чистая беллетристика: не мог Катаев не знать, что Брики за границей, и просить Л.Ю. заварить малину можно разве что для самых наивных читателей. Мало их разве?

От «очень тревожного поведения» в повести в сущности ничего не осталось. Пришел, рассказал две забавные истории. Потом, когда появились гости, перестал острить — сделался «притихший, милый, домашний» и стал переписываться с Норой («он требовал — она не соглашалась, она требовала — он не соглашался»). При этом он иногда сморкался, насморочно кашлял, «затрудненное гриппозное дыхание». Ну, ничего — попьет горячей малины и все пройдет.

Но хозяин и гости продолжают смеяться над человеком, который им не отвечает... Даже в том виде, в каком эта сцена предстает нам сегодня в «Траве забвения», — когда почти снят трагический второй план (а совсем снять его невозможно, так как мы не можем забыть о поджидающей за дверью смерти!), даже в таком сглаженном виде эта сцена по меньшей мере не делает чести чуткости и проницательности писателя.

Почти так же короток и фрагментарен, как письмо Олеше, был рассказ одного из «гостей-статистов» — В.А.Регинина, с которым я мимоходом говорил во дворе Клуба писателей 15 апреля 1930 года:

— «И Маяковский был мрачный, Ливанов его задирали, Вл.Вл. писал Норе записки, потом выходил из-за стола, шагнул по коридору... Катаев сказал: — Не бойтесь, Вертеров больше нет, не повесится... Остряков много было. Мог он это слышать? Не знаю. Шумно было... Пили... Он пил только шампанское... разошлись поздно...»

Был еще один разговор еще с одним «гостем-статистом»... 15 апреля 1940 года Л.Брик расспросила В.О.Роскина и тут же записала его рассказ:

«В 9 часов вечера раздался звонок. Пришел Маяковский. Зашел в кабинет Катаева. Муся и Роскин сидели в Мусиной комнате. Катаева еще не было дома... Муся позвала Маяковского в столовую, туда же вышел Роскин. Стали втроем, по мелкой, играть в ма-джонг...

чего не пившая, и Роскин, мало пивший. Было очень шумно.

Потом Маяковский вышел из-за стола, ушел в кабинет Катаева и шагнул там, и вернулся опять с запиской, и опять вышел и было слышно, как он шагает по комнате.

Кто-то сказал: надо позвать его, на что пьяный Катаев ответил, обращаясь к Олеше, очень громко, чтобы Маяковский услышал: — Чего вы беспокоитесь — это не Есенин, не покончит с собой.

Стали собираться домой, Маяковский ушел последний и перед уходом поцеловал Катаева, чего он раньше никогда не делал. Вот все, что помнит Роскин».

Появление Маяковского в тот вечер изложено здесь иначе, чем в повести. По всей видимости, именно так и было в действительности, просто писатель привел своего гостя к себе пораньше, чтобы иметь время поболтать с ним, чтобы Маяковский мог рассказать ему то, чего он рассказать не мог.

При рассмотрении того, что происходило за столом, не следует, вероятно, забывать и выпитого. «Обычная московская вечеринка», — говорит Катаев. — Чай, печенье. Бутылки три рислинга... Роскин, однако, более прямо: «Все много пили. Трезвыми за столом остались...» Не следует забывать, чтобы лучше представить себе обстановку...

Более близкие Маяковскому люди обращались с вопросами к последним дням — точнее, к тому, что происходило непосредственно перед четырнадцатым апреля...

Просачивающиеся на поверхность отрывочные слова и фразы, детали обстановки не складывались в отчетливую картину, но говорили все же о нестерпимой по несоместимости атмосфере «обычной московской вечеринки».

Н.Н.Асеев писал в «Альманахе с Маяковским» (1934) о последних днях поэта: «Окружение — рой случайных знакомств, людей чужих, малополезных. Маяковский позволил облить себя холодной водой их заутюженных острот, уколов, а подчас и просто плевков. Да, Маяковский себе это позволил».

И дальше: «Когда гриппозный и выбившийся из колеи Маяковский метался, ища себе временного прибежища, — вокруг него начался дикий танец».

— Что же, Владимир Владимирович, оказывается, любовь-то не картошка?

Или:

— Как же, Владимир Владимирович, выходит, что пишется «Баня», а выговаривается «Коварство и любовь»?..

Но все эти остроты, каламбуры, подначивания явно растревоженного, больного, мечущегося Маяковского все же стоят того, чтобы взять гвоздь и молоток и прибить языки, их трепавшие, к столу, за которым они были произнесены.

Узнать побольше, поточнее по свежим следам свершившегося было совсем не просто. Останавливало и нежелание множить сплетни, которых и без того было достаточно. «Покройник этого ужасно не любил...» Кроме того — несоприкосновение кругов, к которым принадлежали левовцы и действующие лица, плюс «гости-статисты» (по терминологии автора «Травы забвения»).

Они не проходили мимо гроба, не стояли в почетном карауле и, если не считать промелькнувшего в первый день Регинина, предпочитали не привлекать к себе внимания. Какое-то чувство неловкости держало их в эти дни подальше от расспросов взволнованных людей.

Конечно, причины катастрофы лежат гораздо глубже и вне вины отдельных личностей, но в те скорбные дни обсуждение того, что происходило накануне, могло быть достаточно неприятным. Со временем это ощущение постепенно прошло. Уже через десять лет, в 1940 году, мы видели Катаева в президиуме торжественно-траурного собрания памяти Маяковского, а еще через 25 лет он напишет «Траву забвения», где поставит себя «с черно-красной повязкой на рукаве в почетном карауле у его изголовья».

Нужно прямо сказать, что этого не было!

И что он будто бы увидел, будто бы стоя у изголовья «наискось через нахмуренный лоб(!), через переносицу тянулся свежий, синевато-чугунный шрам — след падения после того, как он выстрелил себе в сердце...» Как будто фотография еще не изобретена и мертвого Маяковского не снимали фотографии, начиная с того часа, который он пролежал на ковре в комнате, где застрелился, и потом, поднятый на этом ковре на тахту (никакой железной кровати в комнате Маяковского не было!), — потом, перевезенный на другую тахту в Гендриков переулок, и потом в гроб — бесчисленные фотографии бесчисленное количество раз...

Да, да, я, разумеется, не забываю, что это беллетристика. Я не забываю — но и вы не забывайте, что человек этот — не выдумка писателя, а действительно живший на свете поэт, и все, что о нем пишется, не может не рассматриваться с точки зрения соответствия тому, что было.



ПРАВДА
ЗАБВЕНИЯ
И ЦВЕТЫ БЕЛЛЕТРИСТИКИ

И вот выходит, что хозяину и его гостям тревожиться не о чем, они не видят перед собой мающегося в смертной тоске человека, не понимают — что с ним происходит. Да, видимо, иначе и быть не может, если человек в такие минуты попадает в общество чужих и случайных людей...

Правда, там была женщина, к которой эти слова нельзя отнести... Но она была так молода, разве могла она со всем этим совладать, найти выход, где «у меня выходов нет», разве ей под силу был этот характер, вся его необузданность, непримиримость, непомерность?!

Пришел Катаев с шампанским, вином и т.п... Сели ужинать. Рядом с Ливановым сидела Нора, потом еще и еще кто-то, потом Роскин, потом Маяковский и, кажется, Регинин. Ливанов непрерывно задирает Маяковского.

Вдруг Маяковский вынул из кармана заграничную записную книжку и ручку, или вернее карандаш, вырвал листок, написал несколько слов, сложил и попросил Роскина передать Норе. Роскин передал.

Все много пили. Трезвыми за столом остались только Маяковский, выпивший много шампанского /только/, Муся, ни-

редственно перед четырнадцатым апреля... Просачивающиеся на поверхность отрывочные слова и фразы, детали обстановки не складывались в отчетливую картину, но говорили все же о нестерпимой по несоместимости атмосфере «обычной московской вечеринки».

Н.Н.Асеев писал в «Альманахе с Маяковским» (1934) о последних днях поэта: «Окружение — рой случайных знакомств, людей чужих, малополезных. Маяковский позволил облить себя холодной водой их заутюженных острот, уколов, а подчас и просто плевков. Да, Маяковский себе это позволил».

ЗВУКОВЫЕ МЕМУАРЫ

Видите ли, в чем дело, в России победила классическая традиция, именно та, с которой он боролся. А сейчас побеждает традиция, которая тоже имеет глубокие классические корни, восходящие к XVIII веку, — традиция мандельштамовская, идущая от Батюшкова, которая глубоко чужда Маяковскому. Поэтому я убежден, что будущее может быть еще и за Маяковским, но он недооценен и продолжит оставаться недооцененным.

И вместе с тем я вам должен сказать, что он на меня производил странное впечатление человека, который нуждался в защите: беспомощность при всей той огромности, решительности, при всей этой удивительной определенности, при всей этой находчивости необычайной — при всех тех качествах, о которых много говорили и писали, в нем была какая-то почти детская беспомощность. Его хотелось защитить, его страшно жалко было.

Вообще он был человеком необыкновенной доброты и благородства. Я был преподавателем в Институте истории

искусств, мы всегда после вечеров кидались к нему, и всегда его кто-то провожал. Мне, например, была совершенно ясна громадность личности Маяковского, которую я тогда, по молодости лет, не мог как-то выразить и достаточно отчетливо передать. Меня он захватывал в полной мере, захватывал как-то поверх, я бы сказал, или независимо от того эстрадного успеха, который он имел, и который, казалось мне, не имел существенной глубокой связи с подлинностью, с необходимостью подлинного глубокого успеха.

А первый раз увидел я его в 20-м году. Я только что приехал в Ленинград и был у Шкловского. Пришел Маяковский с Лилей Брик, с прелестной, необыкновенно красивой, милой женщиной, которая мне очень понравилась тогда. Она была очень молода и хороша. И речь шла — тогда я был молодой поэт — и речь шла, я помню, о диссонансах и о возможности рифмовать «Иван—Нева».

Ну, я вам рассказываю совершенно бессвязные вещи, я думаю, что это вам вообще не пригодится».

В.Дувакин: «Кому что пригодится — это неизвестно. Что касается Маяковского, я верю в его третье пришествие. Оно было уже дважды, потом было ниспровержено, сейчас бы опять вторично ниспровергнут, но будет третье пришествие, — и все понадобится».

Публикуя фрагменты записей из фонда В.Д.Дувакина, мы не ставили перед собой задачи представить жизнь поэта в медальонах воспоминаний. Предлагаемые фрагменты — более или менее законченные короткие рассказы или небольшие по объему рассуждения о каком-то эпизоде из жизни Маяковского. Они, естественно, не дают представления о всей беседе, а лишь в некоторой степени воспроизводят стиль мышления и речи мемуариста, позволяют увидеть Маяковского в конкретной ситуации глазами очевидца.

Публикация М.Радзишевской, В.Тейдер